О Всеволоде Иванове

Александр Крон

SHOUT
SHARE
IT

- Крон Александр

Крон Александр
О Всеволоде Иванове

Александр Александрович Крон
О Всеволоде Иванове
Воспоминания

Не помню, кто и при каких обстоятельствах познакомил меня со Всеволодом Ивановым. Забыл, и не потому, что мне, тогда еще начинающему, было неинтересно познакомиться с маститым писателем, а потому, что это было одно из тех формальных знакомств, каким связаны почти все люди, бывающие на одних и тех же заседаниях. Вероятно, в прошлом веке знакомству с мэтром предшествовали волнующие хлопоты: писались письма, затем некто связующий вез куда-то трепещущего юнца на извозчике, наконец, происходило представление, и юнец приглашался в дом. В данном случае ничего похожего не произошло, встречаясь в общественных местах, мы стали здороваться - и только. Садились мы почти всегда врозь, и первое время я изощрял свою наблюдательность, разглядывая, как В.В. долго усаживается, с тем чтоб потом долго не менять покойной и естественной позы: руки сложены на коленях, голова слегка откинута назад, - поди угадай, целиком поглощен происходящим или полностью отсутствует. Вообще все мои тогдашние представления о В.В. отличались крайней противоречивостью, он казался старше своих лет, а при этом проглядывало в нем что-то совсем младенческое, было в его лице нечто жестокое - и кроткое, чопорное - и простодушное, трезвое - и мечтательное; с одного боку - половецкий хан, с другого - скандинавский пастор - все это никак не совмещалось. Уставши от этих несовместимостей, я отказался от дальнейших попыток составить окончательное суждение, и в течение многих лет для меня раздельно существовали два Всеволода Иванова: один - знакомый только по книгам и спектаклям, автор "Блокады" и "Бронепоезда", "Партизанских повестей" и "Похождений факира" и другой - крепко, но рассеянно пожимавший мне руку при встрече в различных литературных кулуарах загадочно-молчаливый человек. С автором "Бронепоезда" я был в отношениях глубочайшей интимности, с тем, другим - только в вежливых. В первые годы после войны к вежливым прибавились деловые - работая в комиссии по драматургии Союза писателей, я стал получать от В.В. отстуканные на машинке коротенькие записочки почти стандартного содержания: надо оказать содействие

некоему автору, ступившему на тернистый путь драматического искусства.

Заседания, на которых мы встречались, давно канули в Лету, а вот первая постановка "Бронепоезда" в Художественном театре, несмотря на тридцатипятилетнюю давность, жива в моей памяти и поныне. Это был период наивысшего расцвета МХАТ: качаловское поколение было еще во всеоружии, хмелевское - набирало силу. Я видел "Бронепоезд" трижды. Удивительно, но с годами спектакль не разваливался, наоборот - многие участники премьеры играли впоследствии лучше, ближе к автору. На первых спектаклях В.И.Качалов был излишне озабочен тем, чтобы казаться настоящим крестьянином, и именно поэтому выглядел ряженым, а Н.П.Хмелев, стремясь во что бы то ни стало уйти от ходких в то время штампов в изображении коммуниста, слишком уж подчеркивал интеллигентскую хрупкость Пеклеванова. Постепенно Качалов обрел необходимую для Вершинина характерность, а Хмелев отказался от полемических излишеств, и на творческом вечере В.И.Качалова, происходившем в один из понедельников сезона 1936/37 года, многие москвичи были свидетелями поистине совершенного исполнения сцены "На берегу", где происходит первая встреча Никиты Вершинина с руководителем подпольного ревкома Пеклевановым. Оба артиста были без грима, в модных пиджаках и даже зачем-то с орденами. Но это не очень мешало, я до сих пор слышу знакомый качаловский голос, с какими-то совершенно новыми, неожиданными пленительно-лукавыми интонациями: "Ну, кого я буду прятать? Никого я не буду прятать. Одно дело... если мимо заимки бродяга какой пройдет или странник божий, пожалею, пущу, кормить буду и жалеть буду..."

Столь же ярко запомнился Н.П.Хмелев. Сценическое мастерство Хмелева достигло к тому времени такой виртуозной точности, что каждое движение актера приковывало к себе, как "крупный план". У Листа есть фортепьянные этюды высшей трудности, носящие название "трансцендентальных", такой вот "трансцендентальный этюд" показал Хмелев на качаловском вечере.

Пеклеванов беседует с Вершининым. Он весь внимание, и только руки бессознательно бродят по бокам, ощупывая карманы. Зрители улыбаются. Они раньше, чем сам Пеклеванов, догадались: хочет курить. Наконец желание становится осознанным, Пеклеванов достает из кармана смятую пачку, вынимает папиросу, но в этот миг что-то в словах собеседника привлекает его особое внимание, и папироса остается незажженной. Взгляды зрителей прикованы к незажженной

папиросе, как к палочке гипнотизера, но это совсем не мешает слушать диалог, а лишь подчеркивает значительность того, что говорится. Пауза. Присутствующий при разговоре матрос Знобов (его играл Андерс) зажигает спичку. Пеклеванов торопливо разминает папиросу и прикуривает от спички, при этом он ни на секунду не теряет контакта с Вершининым, его жесты и мимика лучше слов говорят: "Да, да, продолжайте, я вас слушаю". Он с наслаждением затягивается, но проходит несколько секунд, и по еле уловимым беспокойным движениям Пеклеванова зрители догадываются, что какая-то сторонняя мысль мешает ему полностью сосредоточиться на предмете беседы. Еще несколько секунд, и зрители - опять-таки раньше, чем персонаж, - начинают понимать, что беспокоит Пеклеванова. Оказывается, этот безупречно деликатный в отношениях с товарищами человек забыл поблагодарить матроса. Он находит глазами Знобова, коротко кивает, и с этого момента его внимание уже более ничем не нарушается...

В этой фигуре высшего актерского пилотажа было все - и потаенное озорство виртуоза и взыскательность большого художника, для которого филигранная техника - это прежде всего способ передачи глубинного содержания, заключенного в образе. К сцене "На берегу" я еще вернусь, но до этого я должен рассказать сцену в купе.

Время действия - осень 1954 года. Место действия - вагон скорого поезда Москва - Феодосия. Мы с женой уже заняли свои места, когда в коридоре раздался звучный голос Т.В.Ивановой, командовавшей носильщиками. Выглядываю из купе и вижу Всеволода Вячеславовича в светлой курточке на "молнии" и с гигантским рюкзаком за плечами. Наши соседи соглашаются на обмен, мы объединяемся, и через минуту прозаическое купе превращается в каюту дальней экспедиции. Войдя, В.В. скинул рюкзак и начал раскладывать свое имущество. По-видимому, его мало интересовала судьба чемоданов, но он тщательнейшим образом проверил свою коллекцию молотков и топориков, назначение коих было мне в то время еще неизвестно. Убедившись, что молотки и топорики на месте, он расстегнул дорожную сумку - не какую-нибудь пошлую авоську, а настоящую провиантскую сумку, достойную куперовского следопыта, - и извлек оттуда плоскую флягу, складывающийся на манер шапокляка металлический стаканчик и охотничьи колбаски. Колбаски были самые обыкновенные, но выглядели особенно вкусно оттого, каким веселым и предвкушающим взглядом смотрел на них В.В. Он отвинтил крышку фляги и посмотрел на меня с видом заговорщика:

- Ну, хорошо. А нож у вас есть?

Я протянул свой дорожный нож - разборный, со штопором, вилкой и ложкой. Нож был одобрен, и, прежде чем выпить, мы обстоятельно и со знанием дела поговорили о ножах. В это время наши жены разговаривали про свое, а на нас посматривали ласково-снисходительно. Однако В.В. относился к разговору в высшей степени серьезно - он прощупывал сообщника. Весь его вид говорил: не мешайте, в кои-то веки удается поговорить с человеком о настоящем деле... Удостоверившись, что я кое-что понимаю в ножах, и попутно убедившись, что во мне еще не умер мальчишка, он заговорщически подмигнул, мы хлопнули по чарочке и с этого момента вступили в увлекательную игру, которая продолжалась вплоть до приезда в Коктебель: мы уже не просто ехали в Крым, мы путешествовали. Каждая остановка поезда превращалась в событие, мы соревновались в географических и этнографических познаниях и в добывании на пристанционных базарах различной снеди. Мы покупали яблоки в Понырях, попахивающих браконьерским душком копченых рыбцов на приазовских станциях и крошечные дыньки на пыльных перронах крымских полустанков, мы ели чебуреки в ночном шалмане на станции Джанкой и пили мутное разливное вино... Наши жены оказывали нам ровно столько сопротивления, сколько нужно, чтоб игра не потеряла интереса, они ахали и всплескивали руками, когда мы вваливались в купе уже расходившегося вагона, журили за сомнительные приобретения, но делали это больше для порядка, в глубине души они сознавали, что отдыхать надо от всего, даже от регулярного быта и добротной гигиенической домашней пищи. В.В. отдыхал с яростной энергией, в промежутках между вылазками мы разговаривали. В.В. подробно расспрашивал меня о моих детских годах, и я сам удивился тому, какое, оказывается, у меня было интересное детство. Несколько раз мы принимались закусывать, раза два в течение дня В.В. крепко засыпал, но через полчаса просыпался и, приговаривая "Ах, хорошо соснул, ах отлично...", начинал готовиться к очередной вылазке.

В Коктебеле мы опять оказались соседями - Ивановы внизу, а мы на втором этаже. Дверь комнаты Ивановых выходила на просторную террасу, по вечерам терраса превращалась в клуб, где обсуждались предстоящие экскурсии, рассказывались всякие забавные истории и разыгрывались традиционные для Коктебельского дома театрализованные шарады. На протяжении многих лет неизменным режиссером и ведущим актером шарадной труппы был художник М.В.Куприянов, многие коктебельские старожилы до сих пор вспоминают "Умирающего

лебедя", которого Михаил Васильевич исполнял с неподражаемым юмором. Труппу Куприянова составляли самые разные люди - писатели и члены их семей. В том году состав труппы был особенно удачен, в нем блистали такие звезды, как В.С.Кеменов, - работники Министерства культуры были бы, вероятно, потрясены, увидев своего несколько чопорного замминистра с картонной тиарой на голове, в роли папы Александра Борджиа. Не меньшим успехом пользовались муж писательницы Н.Кальмы В.Л.Гетье - крупный инженер, который при желании мог бы стать не менее крупным комическим актером, и заразительно веселая Вера Острогорская. Ивановы в шарадах никогда не играли, но принимали самое заинтересованное участие, предоставляя труппе почти неограниченное право пользоваться их гардеробом и реквизитом. Сам же В.В. был, кроме того, судьей, арбитром и главным зрителем - самым строгим, самым отзывчивым, самым доброжелательным, никто так не хохотал, как он, когда получалось что-нибудь по-настоящему забавное, он заставлял повторять для отсутствовавших живую картину "Неравный брак", где жениха и невесту очень смешно представляли А.В.Кеменова и В.Л.Гетье, а моя жена, в тяжелом облачении, сооруженном из казенного бобрикового одеяла, с бородой из собственных распущенных волос, изображала попа. Несколько раз для разной аудитории игралась импровизированная сценка "Яд", изображавшая ужин в семействе Борджиа. Папу играл Кеменов, Цезаря и Лукрецию - я и Вера Острогорская. В костюмах мы, по возможности, старались соблюсти эпоху, лексика же была вполне современной: Цезарь и Лукреция разговаривали на ужасающем арго московских стиляг, а непогрешимый папа изъяснялся при помощи столь же ужасающих бюрократических штампов. К концу ужина все трое лежали без чувств, отравленные друг другом. Все это было не совсем верно исторически, но, вероятно, смешно, потому что В.В. каждый раз покатывался со смеху.

Во всякой большой отдыхающей компании всегда есть люди, обладающие неожиданными для окружающих талантами - кто-то знает наизусть много хороших стихов, кто-то удивительно поет блатные песни, третий имитирует разных известных людей, четвертый успешно соревнуется с Вольфом Мессингом в отгадывании мыслей. Через несколько дней после приезда в Коктебель В.В. уже знал этих людей наперечет и умело эксплуатировал на благо общества - ласково и требовательно. Он ободрял застенчивых и умерял меры не знающих, будучи сам отличным рассказчиком, он предпочитал режиссировать, тем самым как бы подхватывая эстафету от Максимилиана Волошина, основателя коктебельской традиции, величайшего затейника и

потешных дел мастера. И тут для меня впервые открылось еще одно удивительное и не так уже часто встречающееся среди пишущих людей качество Всеволода Иванова - талант слушателя. В.В. умел слушать как-то так, что если люди и не становились от этого талантливее, то, во всяком случае, раскрывались с самой лучшей стороны. Каким-то чудом он извлекал из людей наружу способности почти угасшие и познания почти забытые, и люди всегда были благодарны ему - не за свой мимолетный успех, а за то, что они сами открывали в себе нечто такое, о чем ранее не подозревали. В.В. искренне считал, что неинтересных людей не существует в природе, и если человек неизвестен, это совсем не значит, что он неинтересен. Если ему и приходилось скучать, то чаще всего с людьми слишком хорошо известными.

Я знавал и других людей, обладавших этим редким талантом. Таким человеком был покойный М.Я.Шнейдер, один из пионеров и энтузиастов молодой советской кинематографии, его крохотную, забитую книгами до самого потолка комнатушку в Серебряном переулке вряд ли можно было назвать салоном, но через эту комнату прошли десятки людей, признанных мастеров и робких дебютантов; они входили туда засветло и выходили на рассвете, там читались пьесы и сценарии, стихи и теоретические статьи, там рождались свежие мысли и оттачивались смелые замыслы, и все это происходило потому, что никто не умел так слушать, как Михаил Яковлевич, - пытливо, восторженно, гневно, самозабвенно. Он заслужил благодарную память многих выдающихся деятелей кино, которым помогал своей блестящей эрудицией и бескорыстными творческими советами. Он тратил себя щедро и умер, почти не оставив печатного наследия, - написанные им незадолго до смерти две книги отличных эссе так и остались неизданными.

Таким же талантливым слушателем был безвременно скончавшийся В.В.Гольцев, редактор "Дружбы народов" и пламенный пропагандист братских литератур.

Но и Шнейдер и Гольцев были критиками, которым по самой природе их профессии должно быть близко "стасовское" начало. У писателей слух не менее развит, но он, если можно так выразиться, более эгоистичен, писатели любят слушать людей других профессий, а в своей среде предпочитают говорить сами. Разительным исключением, способным опровергнуть наспех выведенное мною правило, был Всеволод Иванов. В его присутствии люди удивительно расцветали; забегая вперед, мне хочется сказать о том, как много и хорошо рассказывал при Иванове Ираклий Андроников, как радостно-доверчиво читал Б.Л.Пастернак, каким оживленным и интересным собеседником

бывал сдержанный П.Л.Капица.

Если в шарадах на долю В.В. выпадала роль судьи и арбитра, то в экскурсиях он был командармом. К такой, казалось бы, нехитрой прогулке, как восхождение на Карадаг, он начинал готовиться загодя, тщательно проверяя людей и снаряжение; в колонне, которой В.В. предводительствовал, не бывало отстающих - стыдно жаловаться на усталость, когда впереди идет без малого шестидесятилетний писатель с набитым до отказа рюкзаком за спиной, с саперной лопатой и молотком у пояса и с толстой суковатой палкой в руках. К тому времени я уже знал о назначении молотка - В.В. был страстным петрографом, петрологом и петрофилом, другими словами, знатоком и любителем камней. Кто из завсегдатаев Коктебеля не увлекался собиранием камешков: одних привлекала фактура - в прибрежной полосе попадались очень красивые агаты и сердолики, других - причудливая форма, почему-то особенно ценился "куриный бог", то есть камешек с естественным путем образовавшейся сквозной дырочкой. Для Всеволода Иванова коллекционирование "куриных богов" и "фернампиксов" было давно пройденным этапом, он не унижался до ползания по пляжу, а вырубал свои сокровища в горах. Однажды он даже возымел намерение купить у некоего уходящего на покой кустаря полное оборудование гранильщика. Люди, имеющие хотя бы приблизительное понятие о том, как визжат абразивные диски, легко поймут, в каком ужасе была вся семья.

Разумеется, В.В. вел нас к вершине не по исхоженной дороге, а известными лишь ему, затерянными в колючих кустарниках крутыми тропочками, он безжалостно заставлял доверившихся ему доморощенных альпинистов карабкаться по почти отвесным склонам и даже проползать на животе сквозь пещеры. Зато привал был устроен в какой-то неведомой, почти девственной лощине, где журчал ручей и открывался необыкновенной красоты вид на море. В довершение всех чудес В.В. снял с себя рюкзак и с ухватками настоящего факира извлек оттуда огромной величины арбуз - такой, что его хватило на всю компанию. Был раскинут бивуак, объединены запасы, и ни в каком ресторане так хорошо не пилось и не елось, как под открытым небом. Возвращались уже в сумерках, усталые, исцарапанные, но счастливые; после этого путешествия авторитет В.В. стал магическим, весь сентябрь был как бы окрашен в особые, Ивановские тона. Когда Ивановы уезжали, у автобуса, несмотря на ранний час, выстроились почти все обитатели дома, одетые в матросские тельняшки (по капризу торговой сети этими тельняшками был завален соседний промтоварный ларек). Всеволоду Вячеславовичу были оказаны

адмиральские почести и поднесен ценный дар - "куриный бог" весом в пуд.

Я потому так подробно рассказываю о Коктебеле, что именно там сложилось мое представление о характере В.В. и рассеялись многие кажущиеся "несовместимости". Вопрос решался неожиданно просто: Иванов был настолько крупен, что все вмещал. В его просторном теле и емкой душе было место для всего, он был прост и сложен, в нем отлично умещались трезвый реалист и необузданный фантаст, замкнутость и общительность, величайшая скромность и Люциферова гордыня, житейская беспомощность и многоопытность старого скваттера, наивность ребенка и мудрость аксакала, яркая национальная самобытность и органический интернационализм. В нем жили, не тесня друг друга, ученый книжник, интеллектуал, философ - и сибирский мужик, таежный охотник. В его характере как бы слились черты двух ставших классическими образов "Бронепоезда" - добрая мужицкая сила партизана Вершинина и острый проницательный взгляд образованного революционера. Возвращаясь к спектаклю Художественного театра, я хочу поделиться одним давним наблюдением: чем дальше углублялись в созданные ими образы Качалов и Хмелев, тем более приобретали сходства с Всеволодом Ивановым. Позднее я часто вспоминал обоих, глядя на мирно сидящего за чайным столом писателя. Иногда у В.В. был совсем хмелевский испытующий взгляд поверх очков, а иногда совсем качаловская, как бы прячущаяся в бороде лукавая усмешка - та самая, с которой тот говорил: "Ну, кого я буду прятать? Никого я не буду прятать..."

После возвращения из Коктебеля мы стали регулярно видеться, реже в Москве, чаще в Переделкине. Встречались мы также на заседаниях приемной комиссии в Союзе писателей. Заседания были длинные, и, покончив с делами, мы обычно шли в клубное кафе, чтоб подкрепить свои ослабевшие от бесконечных словопрений силы чашечкой кофе и бутербродами. Пост председателя комиссии по приему в Союз В.В. занимал в течение многих лет до самой смерти и был, на мой взгляд, идеальным председателем - доброжелательным и строгим, беспристрастным и неравнодушным, его авторитет был достаточно велик, чтоб не быть непререкаемым, он не чувствовал себя оскорбленным, оставаясь в меньшинстве, и уважал чужое мнение почти так же, как свое собственное. Ему сразу удалось создать ставшую традиционной и сохранявшуюся при всех составах комиссии несколько академическую, чуточку церемонную и в то же время не лишенную юмора атмосферу заседаний, столь отличную от резковатого стиля, свойственного многим писательским

дискуссиям. В.В. всегда помнил, что за каждым поданным заявлением стоит живой человек, писательская судьба, и старался избегать случайных, непродуманных решений. Бывало, что мнения рецензентов круто расходились и возникала опасность, что при голосовании будет много воздержавшихся. Тогда В.В. со вздохом протягивал руку к лежащей на столе стопочке печатного и говорил: "А что если я тоже почитаю?" И на следующем заседании рассказывал о прочитанном так просто, точно и зримо, что колебавшиеся сразу обретали необходимую уверенность.

При всей щепетильной добросовестности по отношению к общественным обязанностям В.В. не скрывал своей нелюбви к заседаниям, временами у него бывал совершенно отсутствующий взгляд, и можно было поручиться, что в этот момент его мысли блуждают где-то далеко за пределами старого особняка на улице Воровского, где мы обычно собирались. У меня сохранилась посланная мной во время заседания записка с резолюцией В.В. В записке я просил разрешения уйти пораньше, я ждал к обеду приехавшего с Камчатки друга, и мне не хотелось опаздывать. Получив записку, В.В. долго ее разглядывал, затем вздохнул и написал: "Я вам завидую, т.к. сам бы с ним пообедал". И пообедал бы, если б его не удерживал долг председателя, - В.В. принадлежал к тем людям, которых хлебом не корми, а дай поговорить с бывалым человеком. В данном случае "хлебом не корми" выражение не совсем точное - более всего В.В. любил именно застольную беседу, большинство встреч и разговоров происходило не в рабочем кабинете, а на превращенной в столовую просторной теплой веранде переделкинской дачи, где стоял большой, почти всегда накрытый стол, за этим столом обедали, пили чай, иногда выпивали, но всегда разговаривали. Здесь можно было встретить самое разнообразное общество, гостей и домочадцев, москвичей и приезжих, гости были отовсюду - с берегов Сены и с берегов Иртыша, всех сажали за стол без чинов и угощали тем, что было в доме. Не помню, чтоб к чьему-нибудь приходу как-то особенно готовились, чтоб кого-нибудь как-то особенно усаживали или потчевали, все сидели вперемежку, свои и заезжие, знатные иностранцы и забежавшие на огонек дачные соседи. Шел общий разговор, говорили обо всем на свете: чаще о жизни, реже о литературе и совсем редко о делах окололитературных. В последние годы В.В. проявлял живой интерес к современной науке, немалую роль тут сыграла его дружба с академиком П.Л.Капицей и научные успехи младшего сына Вячеслава в новой и увлекательной области знания - структурной лингвистике. Прочитав интересную книжку, В.В. становился ее страстным пропагандистом, из его рук я получил

только что вышедшие в русском переводе "Кибернетику и общество" Норберта Винера и "Предвидимое будущее" Д.Томсона. Невозможно хотя бы приблизительно перечислить все темы, возникавшие за столом у Ивановых, считалось, что хороши все материи, кроме скучных, и, вероятно, именно потому там очень редко сплетничали.

В свой кабинет В.В. приглашал гостей редко, на его рабочем столе всегда было неприбрано, громоздились растрепанные кипы рукописей, лежали раскрытые книги сплошь в пометках и межстраничных закладках, и писатель стеснялся, не беспорядка конечно, а разверстости, обнаженности, интимности этого зрелища, неостывших следов творческого акта. Вообще ко всему связанному с литературным творчеством Иванов относился до крайности целомудренно, нужны были исключительные обстоятельства, чтоб заставить его заговорить о том, что он пишет, написал или собирается написать. О своих успехах и огорчениях В.В. неохотно рассказывал даже самым близким друзьям. Возвратившись из поездки по Югославии, где в трех театрах страны с триумфальным успехом прошел "Бронепоезд", он так ничего толком не рассказал и только мешал Тамаре Владимировне. Помню, всех очень удивляло, что наша театральная пресса никак не откликнулась на успех пьесы за рубежом, - ведь это был успех не только драматурга, но и всего нашего советского искусства, - но В.В. отнесся к этой теме без всякого интереса и при первой возможности перевел разговор на другое. Еще решительнее он уклонялся от обсуждения своих огорчений, а их было немало. В.В. почти никогда о них не заговаривал и неохотно давал читать неопубликованное. Как-то он сам предложил мне взять для прочтения недавно законченный вариант своей коктебельской повести "Вулкан" ("Хочу посоветоваться со старым коктебельцем..."), но затем стал тянуть, ссылаясь то на отсутствие удобочитаемого экземпляра, то на желание что-то дописать и доделать. Кончилось тем, что он уехал в очередную экспедицию, а вернувшись, заявил, что "Вулкан" читать незачем, лучше он даст мне роман "Мы идем в Индию". С романом повторилась та же история, и в конце концов я получил не рукопись, а связанную веревочкой пачку номеров "Советского Казахстана". Роман я прочел в два дня, после чего состоялся разговор, поразивший меня своей серьезностью: В.В. увел меня в свой рабочий кабинет и там с глазу на глаз потребовал от меня откровенного разговора, и в первую очередь о том, что мне не понравилось.

Положение у меня было не из легких. Роман мне не только понравился, но пленил своей сочной словесной живописью,

временами я почти физически ощущал цвет, вкус и запах описываемого, в этой прозе поразительно соединялась густота письма, делавшая героев зримыми и объемными, с будившей мою читательскую фантазию поэтической недоговоренностью. Я читал роман, как читают только в юности, жадно впитывая открывшееся и принимая на веру неясное, по-своему заполняя "белые пятна" на карте той прекрасной страны, куда меня ввел автор. А "белые пятна" были, художественная логика романа была несомненно сильнее бытовой: увлеченный полетом своей фантазии, писатель не слишком заботился о последовательности и взаимосвязи событий. Мне лично это не очень мешало, у меня довольно сильное воображение, в юности я даже любил читать романы не по порядку, а начиная с середины, но я хорошо понимал, что существует другой, более дотошный и порядливый читатель, который не любит никакой невнятицы, с ним у писателя могло и не получиться контакта.

В игре всякого большого драматического артиста соседствуют вдохновение и самоконтроль, основанный на выработанном благодаря опыту чутком и непрерывном ощущении аудитории, на безошибочной расшифровке поступающих из зрительного зала сигналов. Мне казалось, что в последние годы у В.В. вдохновение подавляло самоконтроль (чаще бывает наоборот), он напоминал мне большого артиста-трагика, в силу тех или иных причин все реже появляющегося на сцене; творческая мощь и вдохновение не растрачены и временами потрясают, но тот безошибочный контакт с залом, который достигается привычным общением, иногда теряется, и тогда... все это я, как умел, изложил В.В. Он слушал внимательно, не перебивая, но и не помогая мне говорить. Наконец сказал - не очень дружелюбным тоном:

- Послушать вас, я нечто среднее между камлающим шаманом и тетеревом на току...

Затем улыбнулся:

- Да нет, что там, вы правы... Бормочу.

И потянулся к журналу:

- А ну, покажите - где? Отметили в тексте? Нет? Напрасно...

Мне не пришлось пожалеть о своей откровенности, после нашего разговора отношение В.В. ко мне не только не изменилось к худшему, но стало даже доверительнее. Когда роман вышел в "Советском писателе", при ближайшем свидании В.В. вручил мне книгу со следующей надписью: "Ответным подарком желаю получить от милого А.Крона новый роман, такой же толщины, как этот. Елизавете Алексеевне - читать тот роман с еще большим удовольствием, чем этот. Настроение у меня отвратительное, но, взглянув на свою книгу, мне делается легче. Чего и Вам, дорогие

друзья, желаю. Уезжающий в Ялту Сочинитель. 16 мая 1960 г. Переделкинская дыра".

Сейчас уже трудно восстановить, чем было вызвано настроение, в котором была сделана эта шутливая, но невеселая надпись. Думаю, что основная причина коренилась в длительном несоответствии между количеством сжигаемого в реакторе горючего и тем, что в технике называется КПД - коэффициентом полезного действия. Не в характере В.В. было возлагать ответственность за свое душевное неблагополучие на других людей или обстоятельства, винил он чаще всего себя, отчего, как известно, не становится легче.

Существуют люди, которым ничего не стоит быть сдержанными, поскольку им, если разобраться, нечего сдерживать. Сдержанность В.В. восхищала меня прежде всего потому, что за нею всегда угадывался сильный и страстный характер. Сдержан он был во всем: в разговорах о себе и о своей работе, в отношениях с людьми. Людей, которые ему были неприятны, он сторонился, и нужно было уж очень расстараться, чтоб вызвать его на резкость. Но и в изъявлениях приязни он был также сдержан, ласкательных слов, комплиментов и пышных тостов не произносил, превосходных степеней не употреблял, интимностей и фамильярностей не терпел, его доброе отношение проявлялось не в словах, а прежде всего во внимании. В отличие от довольно распространенной породы людей, бурно радующихся при встрече с тобой и немедленно все забывающих, как только ты вышел за дверь, В.В. встречал даже тех, кого давно не видел, так, как будто расстался с ними только вчера. Но ничего не забывал. Я неоднократно имел случай на собственном опыте убедиться в его внимании. Он никогда не упускал случая сообщить мне то, что, по его мнению, могло меня интересовать. В трудные для меня периоды, когда особенно отчетлива грань между поведением друзей и так называемых "светских" знакомых, внимание В.В. не только не ослабевало, но становилось активнее, он беспокоился, если я пропадал, а во время моей тяжелой болезни Ивановы навещали меня в больнице и дома и всегда были готовы прийти на помощь. Но, пожалуй, самым памятным проявлением внимания В.В. для меня останется следующий эпизод.

Летом 1962 года я переживал тяжелый кризис. Многолетняя работа над романом зашла в тупик, я устал, изверился в себе, все написанное вызывало у меня отвращение, попытки переписывать заново ни к чему не вели, я не улучшал, а портил. Настроение у меня в связи с этим было не из важных. Не могу понять, каким образом В.В. дознался до того, что меня гложет. В одну из наших встреч (летом мы виделись часто) он без всяких околичностей

спросил:

- Когда будем читать роман?

Я опешил:

- Роман? Как это - читать роман? Он же не кончен.

- Знаю, что не кончен. В следующий раз принесите несколько глав по собственному выбору и прочтите. А мы послушаем.

Неделю я отлынивал, но ничего не вышло - пришлось читать. Я отобрал две главы, казавшиеся мне наиболее подходящими, и пришел к Ивановым, рассчитывая прочесть какую-нибудь одну. Увидев в моих руках папку, В.В. позвал Тамару Владимировну и скомандовал: "Читайте!"

Я прочел ту, что была поменьше. Читал минут сорок. В.В. слушал внимательно. Когда я дочитал последнюю страницу, он кивнул головой:

- Так. Дальше.

Тон был решительный, и я не стал отнекиваться.

- Больше нету? - осведомился В.В., когда я, совершенно выдохшийся, закончил чтение. - Что ж так мало захватили? В следующий раз приносите побольше.

Затем говорили о прочитанном. В.В. не хвалил, не критиковал и не давал советов, а только расспрашивал настойчиво и заинтересованно, так расспрашивают человека, видевшего фильм, который еще не скоро появится на экране. В заключение спросил самым деловитым тоном:

- Ну, хорошо, когда читаем дальше? На будущей неделе - условились?

Больше я не читал. И не потому, что не поверил в искренность слов В.В., - он несколько раз напоминал мне о своем предложении, - просто в этом уже не было нужды. Толчок был дан, мертвая точка пройдена, я сел переписывать роман, и мне уже не хотелось показывать В.В. то, что для меня самого было уже вчерашним днем.

Всякий раз, возвращаясь из поездок - по СССР или за границу, - В.В. приглашал: приходите, буду рассказывать... В литературном поколении, к которому принадлежал Всеволод Иванов, было много превосходных рассказчиков, признанных мастеров устной новеллы. Как рассказчик В.В. был непохож ни на кого, в отличие от большинства златоустов, рассказывающих обыкновенное, как чудесное, он рассказывал чудесное, как обыкновенное. Я ни разу не заметил у В.В. желания как-то "дожать" жизненный материал, придать ему завершенность аттракциона. Фантазер, выдумщик, он не любил неточности, то, что в тиши рабочего кабинета определяется глаголом "домыслить", за чайным столом значило бы "приврать", а В.В.

относился к лжи брезгливо, к бескорыстной еще хуже, чем к вынужденной. Я не буду пересказывать сохранившиеся в моей памяти отрывки рассказов В.В. о его путешествиях по белу свету - пусть расскажут те, кто ему сопутствовал, они сделают это лучше, мне же хочется привести только один хорошо запомнившийся рассказ - о человеке, который умел делать гульгульмин. Эту историю В.В. рассказал 1 января 1960 года в Переделкине во время новогоднего обеда. Кроме Л.Ю.Брик, В.А.Катаняна и нас с женой никаких гостей не было. Зашел разговор о Пикассо. В.В. поначалу почти не принимал в нем участия, затем оживился:

- А вы знаете любимую сказочку Пикассо про человека, который умел делать гульгульмин?

- Не знаем, - сказали мы дружно.

- И что такое гульгульмин не знаете?

- Не знаем.

- Тогда слушайте...

Вот этот рассказ, записанный мной по свежей памяти.

В стародавние времена, когда корсары существовали не только в балете, а были грозой южных морей, один корсарский корабль взял на абордаж большой купеческий бриг и после недолгой схватки захватил богатую добычу. Добычей в те времена считались и пассажиры - за богатых можно было взять выкуп, а бедных продать в рабство. Дороже всего ценились красивые женщины, а из мужчин те, кто годился для тяжелой работы или знал какое-нибудь полезное ремесло. Не мудрено, что перед дележом грозные корсары во главе с атаманом осмотрели и ощупали каждого пленника и в заключение подвергли всех строгому допросу: кто таков, есть ли родственники, способные заплатить за тебя выкуп, и если нет, то что умеешь делать? Был среди пленников немолодой уже человек, лицом он походил на философа, а руками на каменотеса, и даже опытный глаз атамана не мог определить, что это за птица. На заданные вопросы человек ответил, что имущества у него нет, но он умеет работать.

- Что же ты умеешь делать? - спросил атаман.

- Я умею делать гульгульмин.

- Гульгульмин? - удивился атаман. - Никогда не слыхивал. Что это можно есть? Или из этого стреляют?

- Нет.

- Так что же это такое?

- Это невозможно рассказать словами. Если б я мог рассказать словами, что такое гульгульмин, незачем тогда его делать.

- Сделаешь мне гульгульмин, - распорядился атаман. - Что тебе для этого нужно?

- Чтоб развязали руки...

- Развяжите, - приказал атаман. - Еще что?

- Хорошее дерево и немного свинца. Мои инструменты - их отобрали твои люди. И главное, чтоб мне не мешали и не торопили...

Атаман был, по всей вероятности, незаурядным человеком, он оставил странного пленника за собой, велел дать ему все необходимое и не беспокоить попусту. Пленник с охотой принялся за дело, он от зари до зари просиживал под мачтой, орудуя ножом и сверлом. Из-под его рук выходило множество гладких дощечек с просверленными в них круглыми дырочками; наблюдавшим за работой корсарам казалось, что все дощечки совершенно одинаковые, но пленник держался другого мнения, и, когда расстояние между дырочками получалось слишком большим или слишком малым, он без всякой жалости выбрасывал дощечку за борт и начинал сверлить снова. Во время работы он часто пел, голос у него был глухой, но приятный, матросы с любопытством прислушивались к незнакомым напевам, а затем постепенно стали понимать и слова.

В свободное от авралов время они подсаживались к человеку, делавшему гульгульмин, и слушали его рассказы, в конце концов они привязались к нему и даже гордились тем, что на их корабле есть человек, который умеет делать гульгульмин.

Так шло время, недели превращались в месяцы. Бесконечно это продолжаться не могло, всегда находятся злые и завистливые люди, которым обязательно нужно посеять раздор и подозрения. Они стали говорить, что пора бы уже всем посмотреть на этот самый гульгульмин и что вероятней всего никакого гульгульмина на свете не существует и пленник попросту дурачит всех, в том числе и атамана. Разговоры эти вскоре дошли до атаманских ушей, и так как никому, а тем более атаманам, неохота ходить в дураках, атаман рассердился и приказал передать пленнику, что ему надоело ждать - через месяц будет корсарский праздник, соберется много гостей, к празднику гульгульмин должен быть готов и показан. Узнав о требовании атамана, пленник улыбнулся и сказал, что очень хорошего гульгульмина за такой короткий срок изготовить, конечно, нельзя, но он сделает все, что в его силах.

Праздник удался на славу, съехалось множество старых соратников, прежде чем сесть за пиршественные столы, корсары соревновались в силе и ловкости, боролись и лазали наперегонки на мачты. Наконец, наступила очередь гульгульмина. По знаку атамана мастер сдернул парусину, прикрывавшую гульгульмин, и все увидели удлиненной формы снаряд, состоящий из дощечек со множеством дырочек, в нижнюю, заостренную часть снаряда был

залит для тяжести свинец. Это и был гульгульмин.

Мастер подал знак, четыре матроса подняли гульгульмин и, раскачав, бросили за борт. Снаряд тут же затонул, но, утопая, он издал необыкновенной красоты музыкальное бульканье, похожее на слово "гульгульмин" или даже "гульгульгульгульгульмин".

- Как! И это все?

Наступило недоуменное молчание, сменившееся взрывом ярости, и только потому, что над головой человека, который умел делать гульгульмин, было занесено одновременно три десятка кривых сабель, его не зарубили сразу. Но, наверно, зарубили бы, если б не нашелся один старый и умный корсар, который сказал: "Остановитесь, друзья, мы ничего не выиграем, если убьем этого человека. С тех пор как он с нами, нам всегда сопутствует удача, мы реже ссоримся между собой и реже предаемся бессмысленному буйству. Нам будет скучно без его песен и рассказов. Короче говоря, он нам нужен. Пусть его сидит под мачтой и делает свой гульгульмин".

И странного человека пощадили. И не только пощадили, но разрешили делать гульгульмин, и со временем многие стали думать, что гульгульмин в самом деле для чего-то нужен людям...

Прелесть всякой хорошей сказки в том, что она допускает самое широкое толкование. Этим-то сказка и отличается от притчи, которая всегда однозначна. Для меня не будет большой неожиданностью, если найдется человек, который скажет, что рассказанная В.В. сказочка сочинена специально для защиты абстрактного искусства или еще что-нибудь в таком же духе. Но я так не думаю. Наоборот, мне кажется, что сказочка Пикассо в интерпретации Иванова говорит о чем-то большем, чем место художника в человеческом обществе. Мне думается, что эта сказка о том, что такое талант и поиск. И запомнилась она мне потому, что в герое рассказа я увидел много общего с рассказчиком.

Болезнь, более свирепая, чем корсары, не пощадила Всеволода Иванова. Те, кто был на его похоронах, помнят, как больно отозвалась его смерть в душах людей. Я должен был говорить у открытой могилы - и отказался, не смог. По написанному не хотелось, а иначе - не отважился. Недавно, перебирая ящики письменного стола, я нашел набросок своей непроизнесенной речи, всего несколько абзацев. Ими я и закончу.

Большой писатель не только автор книг. Он еще и друг, советчик, судья, заступник, нравственный образец. Нельзя быть большим писателем и маленьким человеком. Большой писатель узнается по тому излучению, которое присуще крупной человеческой личности, оно пронизывает не только книги

писателя, но и все, что с ним соприкасается. Известны случаи, когда ситуация или мода возносила на вершины славы людей второстепенных, но не было случая, чтоб удавалось подделать нравственный авторитет.

Влияние личности Всеволода Иванова было огромно, оно не зависело от его официального места в писательской иерархии. Иванов был не из тех людей, которых красит место, наоборот, его имя украшало любое место и любое начинание. Он не стремился к власти, но если уж он соглашался брать в свои руки людские судьбы, то все знали, что нет рук более чистых и более бережных, чем руки Всеволода. Гуманизм, интернационализм, демократизм были для него не религиозными догматами, а органическими свойствами натуры. Непреклонный в своих убеждениях, он был добр, как бывают добры только очень сильные люди.

Всеволод Иванов был человеком богатырского здоровья - физического и духовного, человеком могучей жизненности, такие люди рассчитаны на долгую жизнь. Тем трагичнее для нас его гибель. Ошеломленные ударом, мы еще не до конца сознаем всю невозместимость нашей потери. Трудно говорить "он был" о человеке, который еще как живой стоит перед нашими глазами, и невыносимо говорить "я любил его", когда хочется сказать "люблю".

1966